

Галина Щекина
Людмила Ивасова

Ожидание коз

Рассказы



Галина Щекина

Ожидание коз. Рассказы

«Издательские решения»

Щекина Г.

Ожидание коз. Рассказы / Г. Щекина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-961862-7

Сборник миниатюр и коротких рассказов отобран из текстов с вечными темами — это любовь, долг, смысл жизни, привязанности, социальные проблемы, творчество. Дети. Неизменно перед героями встает выбор между земным и небесным. И если они сами этот выбор не сделают, то за них сделает судьба.

ISBN 978-5-44-961862-7

© Щекина Г.
© Издательские решения

Содержание

К читателю	6
Уна	7
Рабство	12
Декаданс	15
Закоулок	18
Золотой свет	22
Пузырики	25
Сумка	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ожидание коз Рассказы

**Галина Щекина
Людмила Ивасова**

Редактор Любовь Молчанова

Художник Виктор Подгорный

Фотограф Никита Щекин

© Галина Щекина, 2019

© Людмила Ивасова, 2019

© Никита Щекин, фотографии, 2019

ISBN 978-5-4496-1862-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

К читателю

Сборник миниатюр и коротких рассказов отобран из текстов с вечными темами – это любовь, долг, смысл жизни, привязанности, общество, творчество, дети. Неизменно перед героями встает выбор между земным и небесным. И если они сами этот выбор не сделают, то это за них делает судьба.

Уна

Наша контора вела вечный ремонт самой себя. В один из таких ремонтов наш отдел слили с соседним. Между нами была только перегородка, да и то не сплошная. Нас гоняли по службе, а их не гоняли. Заходили просители к нам, а искали, оказывалось, – их. Дверь общая, а табличка золотыми буквами оповещала о них...

Когда затихал очередной шквал, я ловила за перегородкой звуки – звяканье ложечек и приглушенный смех, там пили кофе, его аромат высокомерно реял в воздухе. У них тоже резко звенел телефон, к ним тоже заходили люди с угрожающей интонацией, но все это отлетало быстро. И опять приглушенный смех, реплики, касающиеся косметики, одежды, стихов, мужчин. Пару недель у них работал юрист из городской прокуратуры, знаток своего дела. Но стоило ему вставить слово, не касающееся работы, как общая беседа обрывалась: презрение они выражали в вежливой форме. Любопытство меня разбирало до тех пор, пока я не выдумала какую-то ерунду и не зашла к ним.

Ничего сверхъестественного. Щелкал компьютер, шелестели папки, шумела кофеварка. Я, запинаясь, попросила дать мне разъяснение по транспортным штрафам. Младшая из четырех стала со мной говорить, а начальница молча поглядывала. А потом сделала пару звончков и освободила младшую, занялась мной. Она не просто дала мне подробную консультацию, но и распечатала ее на принтере, а потом еще протянула кофе и столбик шоколада. Такого обслуживания я нигде не видела. Я осмелела и спросила, какие стихи они любят. Они оживились.

«Люблю лимонное с лиловым, сирень средь лютиков люблю./ Лимон фиалками томлю, пою луну весенним словом./ Лиловым, лучезарным, новым!/ Луна подобна кораблю...» – прочитала вкрадчиво одна.

И другая откликнулась:

«Изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно!/ Предыдущему, каждому – ясно?/ С кем? И это неважно. На свете одно/ Изменяющееся прекрасно./ Одному отдаваясь, мечтать о другом/

Неиспробованном, невкушенном,/ Незнакомом вчера, кто сегодня знаком/ И прикинется завтра влюбленным.../ И при этом возлюбленных так обмануть,/ Ревность так усыпить в них умело,/ Чтобы косо они не посмели взглянуть,/ Я же прямо в лицо бы посмела...»

Я растерянно слушала их, в первый раз ничего не запомнила. Но потом у них состоялся маленький праздник вроде годовщины их отдела, они пригласили меня. Так я попала к начальнице домой и, подружившись с ней, получила не только эти стихи Северянина, но и многие другие. Девочки рассказали мне, что Уна добрая, она никогда не ругает, многое делает сама. Работы немного, санкции идут без суда, так что жить можно. Сначала, когда работы было много, они сердились, что Уна не принимает на работу сотрудниц без высшего образования – казалось бы, какая разница, кто будет печатать приказы, вести регистрацию! Но потом, когда Уна стала надолго уезжать, почувствовали – важна квалификация, важен опыт.

Под шелесты бесед я смотрела альбомы Уны, удивлялась. В молодости у нее, у родителей, у подруг были такие старинные одежды, будто она жила в прошлом веке.

– Ретро! Какие воланы, рюши.

– Это мой стиль, – улыбалась Уна, – смотри, какая у меня обстановка. Вот это?

Это был туалетный столик с перламутровой столешницей, весь уставленный причудливыми светящимися флаконами, кувшинчиками, рядом горела крохотная настольная лампа, шевелились пудреницы-пуховки.

– Прелесть! – вскрикнула я. Но это слово было слабое, не годилось.

Я стала приходить к Уне все чаще. Однажды я застала у нее незнакомых мне женщин. Уна подала мне вазочку с печеньем, фужер с шипучкой и указала пухлой рукой на приоткрытую

дверцу шкафа. Я углубилась в книжки, всякий раз удивляясь, что они такие старые. «Не любит наш век, – думала я об Уне, – книжки от букиниста, пуховки от бабушки». А разговор трех подруг был тоже довольно загадочный.

– У меня опять болит голова, – вздыхала самая старшая из них. – Не успела выйти из больницы, как все сначала.

– Я сейчас все сделаю, – успокоила самая молодая, – закрой глаза.

– Они тебя наказывают, – заметила Уна. – Сколько раз ты не вышла на контакт? На тебя давит энергетический столб. Есть простой способ избавиться от этой боли. Ты знаешь, какой.

– Не хочу, – воскликнула старшая, – вдруг я втянусь, и это отразится на дочери?

– Вот видишь, – будто настаивала Уна. – У нас троих примерно одинаковые роли, но тебе всех тяжелее из-за семьи. Ты не хочешь признать свою избранность.

– Чушь! – опять привстала старшая.

– Закрой глаза, – мягко погрозила младшая. – Знаете, девочки, все кончилось, как Уна предсказала. Как только я с ним рассталась, у меня такое хорошее настроение, такие результаты в лечении – все легко пошло. Боли нет уже месяц, даже больше. И работа сразу нашлась – в диагностическом центре. Я им показала оба диплома – и все, я принята.

– Это не значит, что ты монашка, – засмеялась Уна. – Наслаждайся, но не допускай жертвоприношения. Знай, они лишь плод на ветке. Ты разве помнишь персик, который съела три года назад в Анапе?

– Тот персик был сладкий, а этот горький, – вздохнула младшая. Старшая лежала тихо и погладила младшую по руке. «Изменить – и во что бы ни стало, да так, чтоб почувствовать эту измену! – прошептала младшая. – В этом скверного нет, это просто пустяк, точно новое платье надену!» В ее голосе послышались слезы. Кажется, они любили одни и те же стихи – Надсон, Игорь Северянин, Десанка Максимович. Я тоже сидела тихо, листала старинные книжки, но не могла не слушать их разговоры. Чудес тут не было: немного биоэнергетики, немного игры, еще чего-то. На меня напало очень сладкое, сонное состояние. Затылку тепло-тепло, точно гладят любимые руки. Такого никогда не бывает с теми, кого я знаю сто лет. А здесь чужие, почти незнакомые люди. И когда они стали уходить – мне даже стало зябко, грустно, неуютно, точно оказалась на сквозняке. Но Уна продолжала кормить меня печеньем, яблочными пирожками, поить сидром, а потом уговорила искупаться.

– Ты такая бедная в этих ужасных общежитиях. Вода хорошо идет, прими ванну и поедешь домой. Троллейбусы ходят до двенадцати.

В ванной заструился пар, в воде – цветные струи, розовые от шампуня и оранжевые от хвойного экстракта. Плескаться в такой ванне было наслаждение.

В приоткрытую дверь плыли чувственные звуки с пластинок Вертинского – «в бананово-лимонном Сингапуре... пуре...» Уна любила эмигрантскую музыку, у нее были хорошие записи неизвестных мне русских шансонье, привезенные знакомой актрисой. Обилие цветов и эти песни, капризные и страстные, всегда действовали так сильно, что вокруг все исчезало. Голова кружилась от фантазий, сердце билось, требуя неведомого...

А в это время Уна в переднике весело мыла мне голову, рассказывала о себе. Свою кудрявую гриву волос скрутила в жгут и заколола шариковым стержнем. Большие дымчатые очки в тонкой оправе туманились, и за стеклами лукаво посвечивали прищуренные глазки.

– Наверно, тебе уже наговорили всяких глупостей обо мне. Лучше, если я сама тебе скажу, а то ты будешь думать невесть что и терзаться, не решаясь спросить. Ну да, я была любовницей нашего шефа, директора корпорации, это тянулось долго. Корпорация находилась в фазе становления, приходилось советовать ему, поправлять. Сейчас этого не требуется, он умеет все делать сам, но привычка осталась. Это тяготит меня. Я предпочитаю краткие бурные связи. Дети – это прекрасно, но это совершенно не мое. Я не способна на жертвы, я должна

холить себя, вот и все. Некоторые женщины умеют рожать, умеют жертвовать – вот и пускай себе. Что ты так смотришь?

– Шеф вдвое вас моложе. Врут?

– Может, и не врут. Для меня возраст неважен, я его не чувствую. Потому что я живу не в том слое жизни, где есть годы. Почитай «Агни-Йогу», поймешь.

Она ласково, весело вытирала меня, спрашивала, есть ли у меня мальчик, причесывала и сушила феном. Да, говорила я, есть мальчик, но я еще не знаю, получится ли что-нибудь, потому что он настоящая заноза.

– Ха-ха! – звонко смеялась Уна. – Занозы надо удалять. Надо, чтобы было удовольствие, но никакой боли. Иначе начнешь страдать, состаришься, поглупеешь.

Уна обезоруживала. Когда я приходила к ней, она готовила что-нибудь вкусное, с орехами, яблоками и никогда не угощала мясом, зато всегда были сидры, шампанское, сладкие вина, наливки и лимонады. Она обращалась со мной как с маленькой, гладила мои хлопчатые блузки, завивала волосы. Я могла приходить к ней, забираться на обширный диван, поспать, могла брать томики стихов, лежащие кругом в изобилии. Повсюду оказывались красивые безделушки, заколки, коробочки с орехами, упаковки с печеньем, вышитые носовые платочки. В большой круглой шкапулке, сделанной из разноцветных открыток, уютно свернувшись, лежала пышная коса из ниток мулине, там же хранились кальки с узорами будущих вышивок. Вышивки заполняли стены – вставленные в рамы, выполняли роль картин. Благородно-атласная охотничья собака с горном и патронташем, домик, тонувший в зелени, юные девы Марии, колонны у моря – чего там только не было. Вышивки покрывали подушки и думочки, квадратные, овальные и бочонками. Все в этих комнатах как будто говорило, что хозяйка никогда никуда не торопится, и все ее существование неторопливо и безмятежно.

Однажды я пришла к ней ночью, дрожа от холода.

– Уна, троллейбусы не ходят...

Она без лишних слов поместила меня в горячую ванну, завернула в пушистый махровый халат, дала чашку с какао. У нее и какао было особенное – густое, ванильное, как крем для торта.

– Уна, он сделал мне предложение. Я сойду с ума.

– Ты ему, надеюсь, откажешь.

Я отставила чашку.

– Да это раз в жизни бывает! Он такой крутой парень, умница, диссертацию пишет, это вообще другая сфера...

– Девочка, это интересно только первый раз. Потом станет скучно.

Она укрывала меня одеялами, подкладывала подушку повыше, подвигала настольную лампу.

– Если хочешь быть с ним – ради бога, но зачем эти обязательства, кандалы, такое это рабство, такая гадость для женщины.

Я приготовилась плакать.

– Уна! А любовь?

– Умрет твоя любовь, девочка.

Я не поверила. Я завздыхала и заворачивалась в гнездышке, представляя, как мой мальчик идет на другой конец города и нескоро еще дойдет до дома. Его густые русые до плеч волосы смокли от дождя, а плечи в холодной куртке – единственный зонтик. А там дождь со снегом... Он целовал меня только что, его губы приближались к моим медленно, как межпланетная станция, а потом втягивали... Я теперь часть его. Он часть меня. Я не хочу с ним расставаться! Он тоже!

– Не хочу расставаться! – заплакала я.

– Глупенькая, никто не заставляет. Значит, ты уже ничего не понимаешь.

Я ушла от нее утром с «Агни-Йогой» подмышкой. Там у ее дома был магазин – стекляшка времен оттепели. Мимо него и пробежала худая девочка с некстати упавшими на глаза черными волосами, в некрасивом коричневом пальто трапеция. Одной рукой она цепко держала книжку, второй пыталась обуздать волосы против ветра. Девочка смуглая, с тонким носиком и ротиком углами вниз. Девочка помахала мне и побежала выходить замуж.

Через много лет я попала в эти края благодаря старому автобусу. Когда этот сломавшийся рыдван высадил всех пассажиров на углу, я, конечно, не вспомнила бы об этом, если бы не стекляшка. Дул ветер, и я отвернулась, чтоб поднять воротник. Из витрины на меня глянула сутулая женщина в мешковатом коричневом пальто трапеция, с большой сумкой через плечо и еще одной на колесиках. Ротик углами вниз упрямо сжался, черные с седыми пополам волосы лезли в глаза. Сердце мое сжалось... «Уна, – вдруг растерянно вспомнила я, – здесь жила Уна, и я дружила с ней. Но это было так давно! Наверно, она умерла».

Я опаздывала на работу, мне надо было отвезти домой сумку с картошкой, да еще этот автобус. Я метнулась туда-сюда, вспоминая, какие маршруты есть поблизости. Кое-как добрела, стиснув зубы, до остановки, забралась в троллейбус. Мне даже уступили место.

На передней площадке, где стояла кондукторша, послышался в гомоне мелодичный знакомый смех. Он напомнил мне только одного человека, женщину, непостижимую, таинственную, и напомнил именно в тот момент, когда я о ней вспомнила. Я передала денежку на билет и уставилась в окно, борясь с немим внутренним плачем, – пыталась вспомнить, что же там было, в первой книге «Агни-Йоги». Там шла речь об инаком сознании, о вечном шелесте духовных садов, о том неуловимом и нематериальном, которое есть главная цель жизни.

– Вот билетик, передайте обратно, – жизнерадостно молвила женщина, обернувшись на просьбу и протягивая мне руку с зеленым билетным листочком. Круглое ее лицо розово сияло среди кудрявой копны волос. Бархатное синее пальто, сборчатое, в атласных шнурах, таило в складках растаявший снег. Темные глаза улыбались сквозь очки кареглазо и таинственно. Уна! Это она передала мне от кондуктора требуемый билет и тут же отвернулась. Я взяла листочек, смяла дрожащими пальцами. Она не узнала меня. Я слишком состарилась за эти годы, наверно, я стала возрастом похожа на ее мать, которая сидела в ее альбоме в таком же бархатном одеянии... А может, там сидела не мать, а она сама? Я не знала, сказать ли ей, признаться или промолчать. Если бы я сказала, она тотчас припомнила бы мне, как отговаривала меня. А я ведь все равно вышла замуж за своего длинноволосого мальчика, он теперь тоже седой, с диссертацией не вышло ничего, тянет лямку на телевидении.

Но почему я должна оправдываться? И перед кем? Я сделала так, как хотела, мне никто был не указ, я даже упрекнуть себя не могу, что у меня что-то не сбылось. Вот еще!

Мой мальчик больше не любит меня, да я, честно говоря, и не вспоминаю об этом. Прихожу с работы, включаю кастрюли и телевизор погромче, чищу картошку, печатаю на машинке, отвечаю на телефон, расстреливающий меня пулеметными очередями. Конечно, я изменилась, вот и стекляшка напомнила об этом, но это все правильно...

У меня есть дело жизни, есть дети – пусть они не любят меня, но я люблю их, меня на земле держит немало людей, которые оценили меня наконец. И они могут это подтвердить, заступиться... Заступиться, уступить, точно я бабка... Мне уступили место, а Уна, подозрительно молодая, – может, это ее дочь? – да полно, нет у нее никакой дочери, быть не может! – стояла у поручней, ее обнимал за плечи интересный мужчина. Есть такие мужчины, чем старше, тем прекрасней – весь седой, брови черные, чуть полноватый, хитрые глаза, что-то говорит ей на ухо, она мелодично смеется, отряхивая цветы и свою бархатную шубу от снега. Никаких при ней сумок, только вот эти сиреневые зимние хризантемки в хрустящем кулке. Да и вообще, есть ли у нее заботы в жизни, кроме самой себя?

Я живу не только для себя. Моя совесть чиста... Но если половина меня, сцепив зубы, громко бунтовала и гордилась, то вторая половина съежилась и тихо меркла. Вскоре Уна со спутником вышла из троллейбуса и пошла в сторону бывшего нарсуда. А я – домой, в редакцию, на работу. Каждая в свою жизнь.

Рабство

За десять минут набежала публика самая что ни на есть, даже американка в алом блейзере. Быстрее, быстрее – эти первые слова комком в горле, и как опоздало телевидение опять, это мы пропустим, но дальше пошло все изумительно. Особенно когда робкие дети из английской школы объясняли американке: мадэ хэв э поуим – хе сан мэйк драуин – энд Таня, хиз вайф, пут колор... Ес, нау ви хэв поуимз энд пикчез... Английская речь, тихие флейтовые переливы, доносящиеся из скрытого в цветах музыкального центра... На открытии выставки все шло славно!

Американка, дизайнер по профессии, всплескивает руками, как птица. Все взволнованы. Хазбенд этой американки очень богат, он может купить что-нибудь у Тани, мастера по батiku... Но когда Танин хазбенд бабахнул в потолок шампанским и плафоны полетели прямо на компьютеры, ах, ах... Однако это было вчера, праздник прошел, а сегодня надо писать отчет. Бедная сотрудница чахнет над отчетом. Да еще Она ходит...

А вот и Она... Она сегодня одета хорошо, в синем ватнике на пять размеров больше, в разных цветом валенках, в растянутой шапке-петушке. Она тянет носом и говорит басом, но каждое слово ее значительно и даже торжественно.

– Огурчиков.

В руках у нее красивейшая желто-зеленая банка с листиками и плавающими зубочками чеснока. А еще там игрушечные огурчики и малюсенькие перечные полумесяцы, лучистые веера укропа... Можно долго рассматривать это волшебство, тем более что Она дает время на раздумья. Она понимает, что дело после праздника, а сюда из соседнего общежития принесут много чего – и варенья, и соленья, и промтовары, и золото. В критических случаях, когда жажда велика, а из вещей уже нет ничего, несут простыни и холодильники. Сотрудница вспоминает, что сегодня у кого-то день рождения, и потому попадает на крючок.

Сколько-сколько? Шесть? Бедная женщина понимает, что это ужасно дешево, вдвое меньше, чем в лавке, а если разделить все это на других сотрудниц... Сопротивление почти сломлено. Приходящая Она озабоченно считает мелкие и сверхмелкие купюры и благодарно улыбается голыми деснами с двумя черными пенечками зубов. Сотрудница запоздало размышляет, где мадам, такая пьянь, могла взять подобное великолепие, уж не сама ли мариновала? Но мадам Разные Валенки под звуки флейтовых медитаций уже счастливо семенит к открытию винной лавки.

Выждав неделю, мадам проникает опять на освоенную территорию. На ней те же разные валенки, но крутая синяя спецуха подпоясана эластичным ремнем, а на голове вместо растянутого чулка красуется лихая кепка с трикотажными ушами и белоснежными буквами SKI. Смятое лицо мадам выглядывает из-под этой кепки как неизвестно что! Но зато она держит в руках эти самые «ски», новые, яркие, и провозглашает громко:

– Лыжи деткам!

Присутствующие сотрудницы, полностью лишенные финансирования, малодушно бегают за стеллажи, а наша знакомая сотрудница со сданным теперь отчетом активно включается в обсуждение. Она утверждает: да, в спорттоварах это втрое дороже, но там с ботинками, а здесь без. Мадам торжествует – то там, а то здесь! Сотрудница хватается как есть, полагая, что можно обойтись в случае и валенками и дутиками, а как только мадам убегает, подходят желающие поругать-похвалить, и детские лыжи без ботинок тут же перекупают за более высокую цену истинные обладатели лыжных ботинок. Далее являются почти новая камчатная скатерть, совершенно новый уют, почти Roventa, потом дешевый, видимо, краденый сахарный песок, немецкие коробки для специй, наскоро отмытые от специй, и многое другое, сторевавшее в топке абстинентного синдрома. Знакомая нам сотрудница становится все более и более

виноватой, потому что самая малообеспеченная, и посему на нее магическое двух- или трехкратное удешевление оказывает самое оглушающее действие. Кроме того, она доброе, безвольное существо и не может не сочувствовать чужой нужде. Она понимает, что это значит. Социально и психологически слабая, она сперва идет на риск сама, потом подвергает тому же риску остальных сослуживиц. Втягивается вся контора! Но если контора может не брать, то сотрудница не может не брать. И покорствуется бичам.

Проходят зима, весна, лето, экспансия мадам растет. Теперь она уже не просачивается, а входит, громко хлопая подошвами туфель, которые лет пять назад были итальянскими шпильками, на ней невообразимая юбка из деревенской набойки прошлого века плюс черная футболка неясного размера, у которой на груди YES, на спине NO. Отсутствие шапок увеличивает мадам в полном отсутствии прически, то есть делает ее мадам Бильярдный Шарик. Скоро в конторе появляются сетки крупной свеклы, почти новые немецкие комнатные тапки с цыплятами, тьма целлофанов с Идэн и Крузом. Вся продукция расхватывается довольно быстро и, главное, до открытия лавки. С победным видом мадам уходит, окрыленная легким успехом, и, видимо, решается урвать что-то еще. В упоении она теряет чувство меры.

И перед виноватой сотрудницей через полчаса грохается мешок мерзлых костей. Удивительно, что сотрудница действительно испытывает слабость к такого вида гастрономии и частенько варит крепкие бульоны на костях.

Кажется, мадам Жрите даже не утруждается словесной формулировкой, заранее зная, что покупательница деморализована. Действительно, между ними давно уже установилось что-то. Ибо один только взгляд из двери заставляет сотрудницу бросить важного посетителя, чтобы торопливо рыться в клеенчатой сумке мадам. Даже бывалые люди переглядываются и бывают неприятно поражены. Более того – сотруднице тоже стыдно, и она, торопясь избавиться от мадам Два Зуба, почти не глядя, хватая всякую ерунду. Беседа идет на уровне глаз. Взгляд мадам: бери, дешево. Взгляд сотрудницы: нет денег. Мадам: бери еще дешевле. Сотрудница: не надо, не надо. Мадам: займи, но дай выпить. Сотрудница: ну ладно, давай...

Кости старые, коричневые, лежали в холодильной камере месяца три. А может, они были уже сварены или съедены, испортились, а потом засунуты в холодильник! Сотрудница густо краснеет и отрицательно качает головой.

Но мадам наступает и щелкает, щелкает по пакету. Сотрудница тянет носом и опять мотает головой. А мадам Наглость будто решила ее прикончить и делает глотательные движения, и в ее глазах с набрякшими веками – слезы. В ужасе вскакивает сотрудница и убегает за стеллажи, а мадам за нею, хватая за рукав. Деньги тем же таинственным способом, которым владеют цыганки, просачиваются сквозь кошелек сотрудницы и попадают в руки мадам Наглость. Суровая вахтерша наконец настигает зарвавшуюся торговку и выдворяет вон. А наша сотрудница почему-то плачет. Видимо, потому, что на подоконнике среди цветочных горшков красуется мешок с костями. Он лежит там час и два, начинает таять, растекаться, и хозяйка-раба, не выдержав, выбрасывает его в мусорку.

Затем она машинально нажимает на кнопку, включает музыку, пытается, видимо, избавиться от отчаяния. Флейта завораживает ее волшебным журчанием. Будто кожа проницаема для нежного звука, будто вода через почву – просачивается, пронизывает и лечит... Смотри же, какая сила у нежности, следи, как взлетает она и крепнет. Еще выше, еще шире зыбкие круги, еще ближе к солнцу, в котором ты растворишься... Так поет флейта и напоминает о нетленном, не суетном – среди жизни и тленной и суетной. Вечером на выходе из конторы она опять видит воплощение своего позора и стучится спиной о дверь. А порядком уже пьяная мадам Дай Выпить подходит вплотную и цедит:

– Эх ты... Эх ты...

Сотрудница наша идет по тротуару и смотрит прямо. Лицо ее горит, потому что она личная женщина, а идет рядом с такой мадам. Ей, конечно, обидно, что мадам обманула ее

доверие и принесла отбросы. Ей, конечно, страшно, что невидимая связь, почти симпатия, почти «снисхождение богатой к нищей», почти жалость-доброта «к простому народу» кончилась. Она сделала рывок и попыталась выйти из зависимости. Но волей-неволей ей, мягкой и снисходительной, приходится признавать, что есть люди, не достойные ничего, даже милостыни. И такие люди, как мадам Обдеру Карманы – свободны, а вот она, тактичная и чуткая, – раба. И все это видят.

Декаданс

Говор, шумон и сверк. Хитроумная плотинка толстого стекла отгораживает часть водоема. Над ней волны несутся, но долетает только нежная пыль. Чуть дальше спуск ступеней и струй, освобожденная вода падает на камни, в рев, клекот и пение. Ровно пение вод, ровно и выпренно пение в саду. Кто-то играет на расстроенных клавишах, дребезжа металлом струн и связками, звенящими от слез. Обширный старый парк как карнавал жизни на фоне зова судьбы.

В беседке какие-то женщины говорят пылко и гневно, речь напоминает французскую, руки переплетены, платья – ветхое старье. Находят тучи, дует ветер, птицы механически скачут в траве, а они все говорят и говорят... Вечность уже говорят. Вино возле них не тронут.

Поодаль две молодые пары любят друг друга на виду у всех, точно они ливерпульская музыкальная богема. При этом они еще умудряются окликать и вышучивать друг друга, и вина им явно не хватает.

Празднество громоздко, цель его забыта, и толпа разодетых людей рассеянно впиталась в сумрачный парк. Издали струнный оркестр – не из одной точки, а как бы отовсюду, рассеянный и умноженный эхом. Трещат салютные выстрелы, нервный розовый огонь отражается в чьих-то глазах, устремленных вверх. Иногда это парализованные мечтатели, иногда разгоряченные сластолюбцы. Сил ни у кого уже нет, а вечерон все ветвится, ветвится, взметая шлейфы.

К плотине бегут двое. Еще один сюжет, начавшийся за столом! Сначала застольные драмы. Потом диванные страсти. На женщине глухое длинно-черное, на мужчине распахнутое просторно-белое. Она вроде убегает, но, переводя дух, следит за ним. Он догоняет, но как только она оборачивается – лениво откидывается спиной на первый попавшийся ствол. Наконец она, сильно дыша, приближается к толще плотины. Он крадется следом и вдруг обнимает так, что не вырваться. Жаркие препирательства, фразы сквозь зубы, ее выгнутая спинка, тщетные попытки ударить.

Их ссора зауядна – она дразнила его, привлекая и одновременно наказывая. Он же, уверенный, что его успех – плод лишь его гения, оскорбился необходимостью платить – пасть перед женщиной, независимо от того, обязан он ей или нет... Она пыталась сопротивляться, став наконец искренней, а он уже не верил. Мужчины инерционны. Женщины ничему не подвластны.

- Вы не посмеете... насильно...
- А вы повторяйте: когда на темной улице! Настигает дикий араб!
- Я не навязывалась вам в учителя, вы сами...
- Бо-бо-бо, я не хотела быть палачом, но так вышло...
- Да не смейте же.
- А кто у вас на очереди? Вот этот бородатый?
- Ну больно же. Человек вы или кто.
- Для старой светской выдры у вас кожа слишком абрикосовая. А белки сверкают... а волосы... мм...
- Я сразу сказала вам, что вы дар. Мне близко все это, я сама пережила...
- Поплачьте еще... Люблю, когда в слезах отдаются...
- Быть от вас без ума и вот так на ходу, у плотины...
- Да не врите хоть сейчас, весь вечер смотрели, как наркоманка на морфий...

Дальше все идет без слов, остаются одни стоны. Пятнистый летучий сумрак сгущается, струнные заливают безветренный парк церемонной музыкой прошлого. Она томительна, сладка до нытья суставов. Она, как густое сладкое вино, которое бурунами в стакане, а над

стаканом только запах, дуновение, а над водопадом только пыль, а над деревьями, в эфирных струйках – то, чему нет места внизу.

Внизу тела плотной укладки, вулканы амбиций, гейзеры эмоций. Плотность слов превышает плотность воды, плотность воды превышает плотность чувств. Вверху все чище, разреженной, как в высокогорном воздухе, резко, горько, беспечно. Сверху видно лучше, иные страсти растворяются в воде, исчезают...

– Почему я не ушла сразу? Зачем я вообще здесь? Работа пошла прахом, праздновать больше нечего. Весь этот прием – безумие. Мне не надо было соглашаться. Пошла на жертвы. Достала роскошное платье, уговорила мужа. Стала посмешищем в обществе. Сама стала жертвой.

– Кто она? Дразнила меня, теперь плачет. Считает меня злодеем, а я не мог от нее отойти. Это она использует меня в игре с мужем. Теперь придется платить за этот парк страшную цену. Муж меня прикончит.

– Какой парк изумительный сверху. Как пустынно и светло. Милый оказался жестоким. Он не умеет жалеть. Жалеть могу только я. Далеко мы зашли.

– Мы зашли совсем не далеко, только прикоснулись, и уже надо уходить. Но можно запомнить.

– О чем эти женщины в беседке? Они сильно любили друг друга, эти грешницы? Отринули весь белый свет, и уже никто не узнает их пропасти, их взлеты. В стихах то, что их свело. Что их свело, что? Не то, что нас...

Поразительно: падают в водопад одни, всплывают другие. Точно их заставляет кто-то кинуться и зажать друг другу рты, захлопнуть шлюз, запереть слова – потоки отравы и велит рукам обнимать неблизкие тела, и словно читать, и жадно глотать идущий изнутри неколебимый плавный жар, запечатывая ртами секретные места. Прильнуть – отомкнуть – испить – запереть. Нагнуться – припасть, вдохнуть – и устать. Взлететь – умереть, дрожать – перестать...

Теперь они тихи, как два сообщающихся сосуда. В них поровну спеси и жалости, прожитых лет и слабых надежд, наслаждений и беды. Юный на глазах становится старше от своих предчувствий, складки пересекают лоб, впалые щеки твердеют. Более взрослая она туманится, как омытая пролетевшей бурей, молодеет страхом и румянцем. Только что вырвавшаяся из объятий, она задерживает его руку. Только что срывавший с нее платье, он пытается его застегнуть... Они не смотрят друг на друга, боятся.

– Ты была... нет слов. Недостоин такой, как ты. Ты смотреть на меня больше не сможешь. Ты решила наказать меня. Но я не стану каяться.

– Ты подарок. Сама нежность. Я готова смотреть на тебя, считать твои родинки, волоски. Случилось непоправимое. Ты похож на моего сына. Я тебя хотела вырастить, пойми. Нельзя спать с невинным мальчиком... Каяться буду я.

Ночь белеет и исходит зябким дымом. Чадят забытые лампы, поскрипывают кресла-качалки, с шумом просыпаются деревья. Вдоль стеклянной плотины струи гонят нелепые бумажные клумбы, картонные стаканы и коробки от сока.

Никого нет в заспанном парке, только эти двое, и они идут, шатаясь, в разные стороны. В сияющей жемчужной пыли над плотинкой проступает слабый радужный мост, он плывет выше и выше – туда, где живут только эфирные струйки. Не слышно больше струнных, но в тишине переливаются другие, едва слышные звуки. Они похожи на колкую жалобу разошедшихся струн, на клекот и мелодику сонной воды. Они проникают внутрь, минуя уши, подобно волнам. Они незаметно заманивают в иные слои существования. Там, где нет других звуков, кроме арф и детских хоров.

– Он думает, мшу, заплакал от ревности. Но я сама виновата, что все погубила, и его погубила, надо молиться теперь, Боже, простишь ли ты меня, низкую, не ведаю, но его не наказывай, он такой ребенок.

– Она врет, что я это лучшее. У нее таких много. А она единственная. Я как животное взял ее, а она вместо меня – каяться. Господи! Она не должна страдать из-за таких, как я. Она должна сидеть на подушках, а я – пасть перед ней на колени. Я не переживу, я должен вернуть ее. Вернись! Господи, верни ее...

– Я чувствую, как он умирает, его боль ощущаю как свою. Ау, мое сердечко, не рвись. В водопаде мы задохнулись, чуть не умерли. Судьба подсказала нам другой путь, а мы не слышали. Теперь надо искупать грех телесный, и Бог простит нас, и мы найдемся. Прости меня, милый. Ты голоса моего не слышал, а теперь ты слышишь меня даже молча.

Когда люди близки чувственно, души их одиноки и брошены, болтаются в серой поземке и стыннут. Когда люди расстаются телесно, они встречаются душами астрально. И вечный их разговор отныне лишен злобы и недоверия. Услышанный уже не потеряется.

Если опускать взгляд, то вскоре он уткнется в зримый предел. Увидится неподвижность камня или колыхание воды, а под ними версты глухой тверди, может быть, дальше угадается расплавленная пучина. Это конечная остановка.

А когда на вязкой земле сладкое вино жизни выпито, жизнь отрывается от привычной поверхности и легко поднимается ввысь. Если подниматься еще, туда, где неясные тени парят над нежной кисеей водопада, и выше, выше в стремительно засасывающее нечто – граница так и не появится, потому что ее нет. Низкое конечно, а высокое длится без конца. Поэтому этот путь заманчив, а сияющая цель отдаляется с такой же ровной скоростью, с какой ее хотят приблизить.

Закоулок

Закоулок возле гигантского института возник тогда, когда его администрация перекинула крытый переход из одного здания в другое. Бывший подъезд стал крытой верандой: лестница, перила, скамейки и наглухо заделанная дверь, над которой витой чугунный фонарь. Как сцена. А мои окна напротив, все хорошо видно и слышно. Стоит только отодвинуть штору...

Сегодня днем, например, там продолжительно ссорилась молодая пара. Оба разодетые, как дикторы, оба в длинных пальто, он с кейсом, она с нарядным сундучком, в ярком макияже. Сначала договорились о том, куда пойдут обедать, потом, повысив голоса, обсуждали родителей, у которых они живут по его, а не по ее милости, и вот, дошло до того, что даже поест негде, а приходится посещать забегаловки. Потом он сказал ей нечто на ухо и получил за это пощечину. Долго целовались. Видимо, решили больше не обедать никогда в жизни...

Девочки дошкольного возраста раскладывали своих кукол и их одежды. Их стал обстреливать камешками узкоглазый мальчик, которого не приняли в тряпочную жизнь. Две малышки расплакались, а одна внезапно подскочила к пулеметчику, надавала ему пинков. Тот грубо толкнул ее на землю, но сам тем не менее убрался. Сгрудившись, малышня жарко шумела, переживая победу. Бомж завистливо посмотрел на их возню, потом, не желая им мешать, примостился со своими мешками внизу, на ступеньках. Занятая собой, малышня обнаружила это не сразу. А потом тут же стала действовать испытанным способом – кидаться камнями. Бомж, едва успев пожевать свои объедки, сгорбившись, уплелся... В закоулке шла своя маленькая жизнь и проигрывались модели большой и неизвестной жизни. Я человек пожилой, плохо видящий, телевизор смотреть не могу, и не только потому, что от него болит голова. От него на улицу страшно выходить! Мне приходится ходить в поликлинику, за пенсией. Дачу я продала своей хорошей знакомой, когда пришлось лежать два месяца в больнице. Иногда она заходит, приносит мне оброк с моего участка, вот смешная, до сих пор радуется этим кандалам. Я же свела до минимума общение с внешним миром, мне осталось жить самое большое лет десять, и я хочу отдохнуть перед уходом. В моей жизни сейчас все прозрачно, как в отстоявшемся безжизненном водоеме. В моей жизни самое главное теперь – это я сама, как жаль, что раньше я этого не понимала. А почему – об этом я говорить не буду, я должна себя беречь от лишних потрясений.

Вечером, когда я только расположилась поест сыру и попить горячего на ночь, за окном послышались детские голоса, это было странно в такое позднее время. Я тут же выключила торшер, отогнула бархатную штору. Мимо закоулка шествовало семейство, видимо, с вечеринки. Я знала их как соседей, живших в том же доме, что и я. Детей было трое, они ожесточенно толкались и вырывали друг у друга сладости. Муж угрюмо смотрел под ноги, жена вертелась юлой, заглядывая ему в глаза и одновременно пытаясь утихомирить детей. Я тоже в свое время вот так же тратилась и к чему пришла? Впрочем, речь не обо мне.

Семейство двигалось рывками, дети взбегали на поребрики и веранду, ломали чахлые дворовые деревца.

«Мы говорили о японском театре, – твердила жена, – о японском театре, слышишь. А потом о том, что в театре их заставляли сочинять и тут же играть этюды, представляешь. А некоторые на это годы тратят». – «Вот это действительно театр, – бормотал муж, – то, что я вижу и слышу сейчас». – «Да нет же. Я давно мечтала с ним поговорить. У этих театралов совсем другое мышление, более активное и глубокое». Муж не отвечал. Дети дрались. Они ушли в свою грустную темень.

Двор погрузился в тишину, только из верхних окон института проливалась знойная латиноамериканская музыка. Научные сотрудники праздновали что-то, отзвук их праздника делал

двор таинственным и волнующим. Закоулок, освещенный сквозь чугунные завитки, смотрелся как просцениум.

Вскоре прибежала давешняя женщина и с плачем бросилась на скамейку. Воображаю, какую головомойку получила она от муженька. Ни себе ни детям толку дать не может, а туда же, о японском театре толкует. Она выплакивалась долго, мне уже надоело, и я было ушла от окна. Потом на верхнем этаже, видимо, распахнули фрамуги, и чужой праздник стал громче. «Мы эхо, – лилось волшебю, – мы эхо... Мы долгое эхо друг друга». Анны Герман давно нет, а ее продолжают любить как живую. Почему она выговаривает слова без акцента, а все равно ясно, что она не русская? Потому, что она утонченное существо, в ней нет бабства, как в Бабкиной, как во всех прочих нынешних дивах такого сорта. Герман выдыхает слова, она самозабвенна и простосердечна, и это ничем не заменить, не подделать... Это единственная певица на свете, мне все равно, что она поет, мне хочется слушать все, что она поет...

Женщина сидела на той же скамейке, прислонясь головой к столбику и слушала музыку вместе со мной. «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду я одна...» Мне показалось, что если я могу ее понимать, то и она меня. Мысленно как бы заговорила с ней. Ну что, глупенькая, не пора ли тебе опомниться? Ты ведь еще не так стара, как я. Так ли уж надо быть рабой чужих представлений?

Медленные движения, которыми она вытирала глаза, нос, механически складывала платочек, говорили о том, что она вроде бы успокоилась, даже поправила юбку, волосы. Она отдыхала от скандала и размышляла о чем-то.

Шаркающей расхлябанной походкой к ней приблизился неприлично молодой, откровенно южный человек с головы до ног в американских надписях и отвратительной золотой куртке. Он постоял, пошевелил пальцами и сел рядом. Не поодаль, не напротив, а рядом, потому что это такое поколение, им все можно. Она не шевелилась.

– Пэчальная, – заметил южанин.

Ему хотелось поговорить, а он не умел. А ей не хотелось. Он попытался объяснить, что она еще ничего.

– Уйди, – коротко сказала она.

– Он тэбя бил? Ты нэ просто тут. У вас ссора.

– Ну и что?

– Ты можешь намстыть грубому мужу. Со мной.

Она отвернулась. Музыка звучала летящая, легкая, по-старому это как скрипки, как ксилофоны, а теперь это все называется синтезатор. Из объемной сумки-рефрижератора южанин достал сигареты, закурил, протянул ей, она не взяла. Он погладил ее по руке. Она отодвинулась.

– Я нэкрасив?

– Ты очень красив. Ты высок и строен. Твои волосы сверкают как антрацит. Они кажутся отлитыми из металла. У тебя глаза широко расставлены, а переносицы нет, нос идет прямо ото лба. Ты похож на олимпийского бога.

Южанин отодвинулся подальше и стал ее пристально разглядывать.

– Ты знаэшь слова! – сказал он удивленно.

– Я люблю слова, – сказала она.

– А людэй?

Она только вздохнула.

– Некоторых. Раньше любила всех и заранее, а теперь устала. Не в том смысле, как ты сказал – намстить. А по-человечески, сердцем.

– Если б тэпэр было раньше, ты любила бы всех и мэня тоже. Но тэпэр поздно.

Он замолчал, обхватив голову руками. Полез в свой рефрижератор, достал большой пласт бананов:

– На. Кушай. Нэ смэй отказаться. Вино хочешь? Как хочешь.

Видя, что она молча держит эти бананы, отломил и снял лепестками шкурку.

– Ешь, сказал. Ты очэнь пэчальна, тэбя отучили любить. Но раньше было у тэбя. А у меня и тэпэр нет. Ты сказала красив. А нэт ничего!

– Брось убиваться, – сказала она, машинально жуя бананы, – ты молодой, тебе наверно, лет двадцать пять от силы.

– Двадцать!

– Не встретил еще.

– Трэтий год как встрэтил. Дом есть, видео есть, две шубы есть, а... ничэго нэт. Дэти не хочет, смеяться не хочет. Нэ живет, отбывает.

– Думаешь, не любит?

– Нэ любит. Дает, но нэ любит.

– Наверно, ты что-то не так сделал.

– Все сдэлал. Тэбе муж твой так не сдэлал, как я ей. Скажи, есть шуба?

– Нет, мы мало получаем, мы бюджетники, и у нас дети, да я еще книгу напечатала...

– Нэт, я не знаю такой народ – бюджетник. Твой муж не работает. Я пять киосков открыл, у меня грузы круглые сутки идут в город... Ты слушай. Ты – пэчальна, я пэчальны. Но я дам тэбе на шубу. На. Тут пять лимонов.

– Отстань, ради бога, с лимонами, ты с ума сошел. Я не могу с тобой спать за бананы, за лимоны.

– Э-э, какая. Я нэ прошу спать. Прошу взять лимоны на шубу.

– Не нужна мне такая шуба.

– А что тэбе нужно?

– Книжку...

– Книга? Пусть книга.

– Нн... Не могу. Как я объясню? Что муж скажет?

– Э-э. Скажи – ты нэ любишь, другие любят.

– Нет!

– Пачэму нэт, слушай! Я могу одын раз сдэлать?.. – южанин развел руками, как дирижер.

Вдруг женщина вскочила, прислушалась. Издали послышался крик «мама!». Потом в закоулок вбежала девочка и бросилась к женщине на шею. Сейчас все кончится. Герман зря пела этой глупышке «Один раз в год сады цветут». Видимо, эта особа надеется жить вечно и при этом вечно презирать материальное...

– Мама! Ты ушла! Ты не хочешь больше жить с папой! Но ты иди тихо, он спит уже.

– Тише, детка, никуда я не ушла, я просто хотела одна поплакать, – она обнимала и гладила девочку, которая была в ночной рубашке, в куртке и в тапочках с помпонами.

– А почему этот? Он кто? Пристает?

– Да нет. Он просто бедный. Пойдем домой.

– Куда? Дэнги твои... – южанин загородил им дорогу. Женщина оставила девочку и обернулась к нему.

– Послушай, Ашот, или как тебя. Я не могу брать, не заработала. Ты не расстраивайся, лучше поговори с женой. Что со мной говорить! Я чужая. А ты скажи ей, скажи, как ты страдаешь, она пожалеет...

Она уже сама готова была пожалеть его. Из обиженной, загнанной тетки незаметно превратилась в утешительницу и теперь была сильнее этого красавца. Теперь он не только не стал приставать бы, а уже сам готов был упасть на колени. Но при дочке беседа сломалась. Женщина бросила, точно милостыню, сухие слова и сердцем была уже далеко отсюда. Она как будто стала красивей, ветер трогал за волосы, плечики пошли назад, подбородочек вверх, глазки округлились. Ее нужность кому-то – потрясающее средство, как легко выплыть из пучины отчаяния,

если в ней нужда. Давай, глупышка, беги из закоулка радости в свою рутину. Боишься рискнуть, из своей колеи постылой выскочить?

Научные работники к тому времени уже явно перестарались и после романтической музыки перешли на ресторанный ор. Звуки становились все громче, все надсаднее. Итак, ночь подешевела, откровения иссякли...

– Стой! Нэ ходы! Я нэ все сказал, я только... – он схватил женщину за руку, но не как хулиганы хватают: за предплечье, одежду, а так просительно, двумя руками за ладонь. Но дочка дернула сильнее и утащила мать. А южанин сел на скамейку, бросил деньги в рефрижератор и прислонился спиной к столбику. Кажется, он больше не собирался никуда идти.

Спектакль закончился. Я улыбнулась и закрыла шторы.

Золотой свет

Судьбой подаренный шанс – еще раз увидеть их. Придешь тут в отчаяние, когда приехать никто не в силах. Вот сейчас это точно за гранью возможного, как цветы на чужой клумбе из поезда, летящего мимо. Но тогда все казалось незбылемым, ясным, как праздник.

Праздник немой, неназванный и невозможный, в воздухе мягкий золотой свет. У всех присутствующих ласково-внимательные лица: все боятся спугнуть этот праздник – кратчайший момент, когда забыты раздоры и горечи... В такие минуты исчезает обыденность, царит одухотворенность. Трудно представить, что все мы после этого вскочим, вырвемся из золотой комнаты, грубо закричим на детей и погоним их обедать, а они снова подерутся...

Это потом. А пока мама с папой опять пристраиваются по краям нашей немаленькой компании, хотя они тут самые главные. Это их идея – собрать нас всех здесь и сейчас. Мама обиженно-гордо молчит, очки все-таки не сняла, она явно не хочет, чтобы мы запомнили ее пожилой, с глубокими морщинами, мешками под глазами. Да и очки славно-удивительно ей идут – ее иконное и строгое лицо становится еще тоныше, еще собранней. Кстати и коричневая полупрозрачная оправа очков, будто нарочно подобранная к ее новому платью. Тонкий бело-коричневый лиственный узор прихотливо струится, взрываясь мелким горошком.

«Хороший шелк, – говорит по дороге мама, – нежаркий, не электрический. Но дороговатый». Мама по-прежнему боится тратить на себя, у нее две взрослых дочери – это я и моя младшая по рождению сестра, которая старше по жизни... Но шелестящий японскими листочками шелк мама все же не отринула, и незаметно-удобно легли на него мелкие белые бусы под жемчуг... Ну извини, извини, конечно, не «под», а настоящий жемчуг, потому что маленький, неправильной формы, это крупные белые – те «под жемчуг». Рукава подвинуты высоко к локоткам – мама любит на три четверти и меня приучила к таким же: независимо от фасона, я тоже теперь подвигаю их повыше либо вообще обрезаю.

Стойте, а серьги ведь тоже такие, жемчужные! Это откуда? «Случайно!» – будет восклицать мама, но я-то знаю – она всегда все берет про запас, и эти серьги она купила три года назад, когда бус не было в помине. Точно так же было с моими декоративными цепями – они лежали себе в шкатулочке, а потом были отданы мне к моему белому платью. Хорошо, хорошо, я не спорю, или потом разберемся...

А что это папа такой грустный сидит? Кажется, еще вчера был не против этой затеи всем собраться именно по этой причине. «Да отстань, доча, – будто говорит он, – мне просто жарко в новом костюме, летний называется». – «Правда! Ведь прежний у тебя был не такой. А этот с косым накладным кармашком... Но тогда зачем, если в нем жарко?» – «Не видишь, коричневый».

Я поражена. Действительно, это так – одежда на них обоих в коричневых тонах сегодня! Не мама ли со своим железным характером настояла на этом? Помню, и у меня с милым было что-то подобное – у него небесно-синий костюм, и у меня платье с синим корсажем и жилеткой, мама говорила – «кантилена».

Коричневая кантилена папы и мамы и вообще соблюдение такой кантилены – это неумирающая семейная черточка. Так что костюм новый у папы – это событие непростое, не будь его, пошел бы в рубаше с коротким рукавом, а вот галстучек с крохотной японской веткой – давний. Неужели еще и с этой ветки слетел листочек, вторя маминой листве?

Да, представьте, слетел. И я тоже слетела с их ветки, оторванный листок, ни в мать ни в отца, оба приличные люди, а я до таких лет дожила – никаких достатков, ничего не добилась.

Моей черноглазенькой дочке пришлось надеть чужое платьице, своего ничего красивого у нас нет. Находчивая сестра, прицелясь, выхватила из необъятного шкафа нечто белое в бантиках, и оно тут же пришлось впору. И подала газовую ленту в тон. Ах, ну только она умеет так

украшать. У сыночка оказалась, к счастью, новая розовая рубаша, и сам такой розовощекий, точно персик, улыбается сладко, и дочка стоит с ним рядом, ну надо же, кто знал, что они через пару лет так возненавидят друг друга. Сынок подает рожу прямо в объектив, а дочка примостилась боком, и это тоже сбывается в жизни: он требует, а она с усилием и заминкой просит.

Рядом с сыночком моя младшая племянница, сестрина дочь, – на ней великолепная накидка с гипюровой оборкой и тоже бантом зеленым в тон гипюра. И хитренькая же она, попала рядом с сыном, которого признала из всех нас первым, а также рядом с дедулей в коричневом новом костюме – она всегда притягивается к тем, кто ее любит. И держится младшенькая, как артистка, лукавая, легкая, – потом, после занятий по психотренингу, она поступит на хореографию и пойдет и пойдет покорять.

Добрая девочка – единственная не отвернулась от нас после всего... Писала моей черноглазенькой письма, высылала фотографии... Интересно, вот эту золотую комнату она помнит ли?

Итак, в центре она с моими черноглазиками, папа и мама с краю и рядом с мамой ее мать, наша бабушка. Лапушка, в вечно засаленном халате, принарядилась сегодня в коричнево-кирпичное креповое одеяние, увенчанное черным зубчатым гипюром. Боже мой, да они сговорились насчет этой коричневой кантилены. Ах, пампушечка медовая, сколько у нее есть еще ненадеванного, нового, что она полжизни берегла. Кстати, она тоже в очках, как и мама, и наверно поэтому они еще сильнее стали похожи в последние годы, особенно глазами и носом, крыльями бровей. Миленькая моя баба, ты от слепоты меня лечила, по больницам со мной мыкалась, а сама всю жизнь проходила в очках. «Слабэньки, троху дальни», – проговаривала ты, а вон какие толстые стекла.

У мамы и бабушки такое скрытое терпенье в лицах, их поджатые щечки и ротки такие молчаливые. «Высидим, вытерпим! И вы, детки, сидите, терпите...» Да ты, бабуля, не томись, ты посмотри, какая у нас-то с тобой кантилена, ты как знала со своим черным гипюром, что я в легкой черной кофточке окажусь. Тебя посадили и бегают, утомили до потери пульса, но ты не томись, сейчас поедешь от этой оравы в деревянненький домик за больницей, снимешь кирпичный наряд, запихаешь опять в шкаф лет на пять и пойдешь в старом сарафане на лавочку в огород. У тебя в хате все тот же старый диван и кровать с шишечками – от матери, когда она купила новую мебель.

Помнишь, ты мне однажды гардины – рыжие, тюлевые, трехметровые – подарила? А я ничего тебе не подарила, так и мыкаюсь в нищете всю жизнь, но ты не обижаешься, так ведь? Ты знаешь, что я деньги не на дело трачу, но никогда не рыпишь на меня, я у тебя любимая внучка, «хай його бис!» – бормочешь ты. И мама вешает тебе на шею пресловутую ниточку бус под жемчуг. И ты ничего. А мама тоже!.. Хочет, чтобы все вокруг нее в ее бусах сидели, елки! Так-то мы с бабулей похожи больше, чем с мамой, только здесь – бабуля в бусах, а я нет.

Я стою чуть позади, рядом со мной старшая племянка и сестра. На старшей племянке черный крепдешин в ало-белых хризантемах, вырез формой повторяет мой, а язык мой немо повторяет ее запальчивые слова. Ах, котик, неужели я лишь бедностью тебя разгневала так? Ну, езжу без гостинцев, ну, не умею зарабатывать, но кого я обидела этим, кроме себя? Ах, детей сделала уродами? Но они не воспринимают это так остро, как ты, они маленькие...

Ты у нас пугающе красивая девочка, умница, в твои шестнадцать иметь такую молочную кожу, такой лик царевнин – опасно. И твоя непомерная гордость, надеюсь, тебя защитит. Но когда я тебя качала двухмесячную, знаешь, я уже так жарко любила тебя, что и потом всю обратную дорогу в поезде продолжала раскачиваться, привыкнув к твоей амплитуде. Нет-нет, про пеленки не буду...

Наконец, трудно узнать в высокой женщине рядом с племяншкой свою родную сестру. Нас и раньше не признавали за сестер: я маленькая и черненькая, она стройнющая, как модель, худощавая, пепельные кудри. Я растеряха, она властная и ловкая. Она в детстве дразнила

меня – «самое главное в жизни – деньги», и в институте – «самое главное в жизни – власть», да и сейчас так властно смотрит на всех, как бы говоря: «Вы здесь, потому что этого хотела я, самое главное здесь я». Я тоже здесь, потому что так хотела она, и она уговорила меня, а я всю свою семью. Мы вообще одурели, ехали за столько верст, заняли денег. Но она хотела делить наследство, а я не хотела делить при живых бабках-дедках, вдобавок на вокзале дети подхватили вшей, я морила всех керосином и так далее, а потом мы оказались не те люди, с нами стыдно ходить по проспектам родного города...

А были ведь времена – мы ездили друг к другу через города, через моря... В институте у сестреночки обнаружили затемнение в легких, я мчалась, банка нутряного жира в сумке, мед... А еще в тайгу-то к ней тряслась, двое суток по поселку искала... Подумать только. Ходили через дождь деток крестить. Варенье вместе варили. Смеялись сутками, сестра моя, птичка моя, ты не забыла об этом, надеюсь?

Костюм сестры из смесовой ткани отликает серебром, как скафандр, пепельные волосы клубятся облаком, а серые глазищи так хороши, что согласишься с чем угодно. Ты хочешь, чтобы я поверила, что я такая ужасная? Ладно.

Как холодно. А может, просто я опять не то надела. На мне случайная кофтенка, случайная пестрая юбка, дешевые синие серьги, мне еще далеко до писательства, я так молода еще, так смугла...

Но мне холодно оттого, что за моей спиной качается старинный фрегат и студеный ветер дует с моря. Это корабль из «Детей капитана Гранта», на нем уже наверняка находится чудный Роберт Грант по имени Яков Сегель, который машет мне мальчишеской рукой. Из радио, как в детстве, выплескивается – «Веселый ветер, веселый ветер... Моря и горя ты обшарил все на свете...» И незаметно переходит в начальную увертюру... Потому что история нашей семьи такая грустная, и начиналась она так давно и так драматично... И эта музыка всегда очень выражала маму с папой – с одной стороны, они героические люди, эпические борцы, главный инженер и главный агроном МТС, даже книжка дома была – «Повесть о директоре МТС и главном агрономе», а с другой – нам так не прожить нашу жизнь, как они смогли. Они зовут, а мы медлим. Вот так же зовет меня с собой мальчик Грант, который искал отца.

Куда он зовет? Да я не знаю! Я в этот момент не думаю, почему тут нет наших с сестренкой мужей, которые, по ее выражению, «опять пьют, как пить дать» – взяли бочонок разливного пива и сидят где-нибудь в саду, говорят о рок-н-ролле. Я в этот момент не хочу знать, какие ямы себе готовлю, как сестра прогонит и осудит меня, как заболит потом, и будем мы с ней жить в вечной печали. О, я еще улыбаюсь беззаботно, и меня поднимает, баюкает важность происходящего. Главное не то, кто и в чем тут сидит, просто мне дороги даже мелочи.

Главное – это мягкий золотой свет, заполнивший чудесную золотую комнату с белыми креслами и столиками с гнутыми ножками, с фрегатом за спиной, который тоже в золоте и синеве, и посреди этой красоты все мы, на миг сосредоточенные, нежные. Пока играла увертюра Дунаевского, мы успели посмотреть друг на друга с теплом и надеждой – перед тем, как встать и уйти в разные стороны, чтобы потом не встретиться никогда.

Пузырики

Критику С. Фаустову

Хрустящий, как шоколадная обертка, ледок. Бежишь по нему, неуловимо молодея, и как бы становится мало лет. Но под громадным ошипованным колесом хруст не хруст, а тончайший щелк пузыриков градусника. Ведро рассыпанных градусников.

Немецкий троллейбус, как комнатка, фойе, никаких ободранных сидений, гнутых ведер и мазутных мешковин. Кресла в пашечку, медовый оттенок гобелена. Билетики, билетики, ах, да вот же компостер – рядом, и тут же красная стоп-кнопка, если надо выйти, а я-то дальше... Ведь в таком салоне можно жить, можно вечера проводить... и ночи. А может, насовсем остаться? Ля-до-ми-ля!.. Сразу мы многого не добьемся, ну ничего, возьмем пока начальный аккорд.

«Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в нашей маленькой литературно-музыкально-...троллейбусной гостиной. Мы здесь временно, один библиотечный зал оккупирован студентами по причине сессии, а в другом аварийная течь на потолке, мэрия опять не в силах... Не правда ли, тут уютно? Выступающий, вот сюда, на возвышение... Чтобы все было возвышенно. Кто на этот раз? Только не пузырьтесь, спокойно, ласково, чтобы непременно легкая аура... Кому объяснить, что такое аура? Ее можно чистить, осветлять. Свечи помогают и еще индийские благовония. Но главное – внутренний настрой...»

Нет, не сейчас, через одну. Здесь была остановка года два назад, в пик развития отношений. Это вон там, за игрушечным театриком, за сараюшками. Исчерканная мелом подъездная дверь, за которой протуберанцы горя и рассветные соловьи. Пара колких фраз – сразу смех, настроение, все нипочем. А в итоге от чужой мудрости как бы в дураках: временное, заемное, тающее... Пузырики фантазии, радужные мыльные пленки. Эта остановка в прошлом, проехали, проехали ее.

Возможно, на следующей? Там, где хитрый рынок, где дешевая сгущенка в картонных кубиках, масло из поселка Молочное, белые, как масло, цыплята, величиной с чайник одна ножка. И ни на что это нет денег. Девушке в бархатном плаще до полу тоже мало. А ее кожаный юноша в трансе: только что подал ей две сотни... Они оба в светлом, наивном удивлении, в светлой шумящей одежде. Про меня и речи нет, нету у меня дара речи. Ну, девушки, ну откуда у вас такие юноши, такие плащи, вам еще двадцать не стукнуло!

Пересадка с троллейбуса на автобус. Холодно, больно ногам в тонких туфлях от шерба-тости щебня. Скорей бы уж автобус – любой: не русский, русский, желтый «икарус» или красный ПАЗ, только скорей, ветер насквозь... Здесь, на рыночном пяточке, ревет из усилителей сразу несколько музык, наверно, чья громче, тот больше продаст. И все это накатывает, нака-тывает на тебя и парализует. Одно утешает: звуки заглушают и перекрывают себя, как бы гас-нут друг в друге. Поэтому не так остро действуют. Самое сильное – самое простое. Ля-до-ми... Ля минор. С него все начинается...

Господи, прости все мои прегрешения, вольные и невольные, прости мою бедную, всеми покинутую сестру, дай ей порадоваться на склоне дней. А то моя радость кажется глупой, непос-лежертвенной, незаслуженной. И если молебен заказать, то к слабой моей молитве присоеди-нится еще несколько бескорыстных голосов. И услышат ее печаль, услышат...

Она ведь не для себя, Господи, а все-таки не знает радости без платы, дарованной просто так, ни за что. Пузырики света подарить бы ей – света своего, которого чересчур много. Много света, больше, больше света...

Вот и она, слава тебе, Господи, «единица» показалась из-за поворота. Тут все русское и родное – бензиновая духота, перегары, перебранки и тепло. А в моей гостиной холодно.

Кажется, стихам и звучать бы в лютом морозе, чтобы восприятие усиливалось съезженной кожей. И все же весна не весна, когда такой дубак.

Автобус напротив АТС. Нет, моя остановка не сейчас. Была моя – полгода назад, тогда еще друг был живой. Вон его жена неудалая, лицо пьющей женщины, смятой от долгого употребления, рядом мальчик, не желающий жить со своей матерью. Солнце, не желающее светить, спящее в тучах. Изморозь на поручнях, пузырьки слез. «Бедные сукины дети, сколько у них горя и тоски, сколько горя и тоски от них людям...»

После остановки «Больница» автобус окончательно пустой. Часть толпы сворачивает к психинтернату, куда вызывали со стихами и песнями... Гусиный гогот: «Видали таких писателей, видали». Вот они, мои поклонницы, женщины в халатах и трикошках, сизоватые, зеленые, безглазые. Пузырики земляные.

Дальше заводской район, рабочие девочки, рабочие мальчики. Их бы в мою гостиную, чтоб с утра не за пузырьком зеленым, а ко мне, в высокую духовность... «Дулю тебе, а не духовность. Ты сама их чураешься...» Кто это сказал? Если никого нет, а слова явственны, значит совесть. Но в коридоре кто-то уже есть. Кто-то ободранный, невыносимо грустный, ссутулившийся, обхвативший длинными пальцами голову, а рядом на зеленой банкетке толстая папка с загнутыми краями. Поза его застывшая выдает, что он давно здесь. Но я позднее всех, значит, он ко мне. Кто-то незнакомый, кому я нужна? Что ж, начнем. Ля-до-ми-ля! Ах вы, пузырьки радости. Это когда от газ-воды смешно и колко в носу.

Сумка

Каждый раз, когда я выплываю из подъезда с огромными сумками в руках, я становлюсь похожа на одну мою покойную коллегу. Та ходила на работу с тремя сумками, и там у нее были библиотечные книжки – а читала она много, чтобы от горя отвлечься, – а еще там были мешки с травой, которую она заваривала порознь и пила отвары, целлофаны с хлебом, кашей, молоком, а отдельно – рабочие папочки с таблицами, которые она могла дома посчитать. Я тоже на работу с двумя сумками и в обеих папочки...

На днях, торопясь сунуть в духовку противень с солеными сухариками, я сильно обожглась, и теперь мне обе сумки приходится переключивать в одну руку. Вижу, что неподъемно, придется разбирать. Вздыхаю и начинаю извучать залежи.

Так-с, ребята поэты. Не вам ли надо сказать спасибо, что вы так много и хорошо пишете? Посмотрим, это что. Это наш философический летчик. Никогда не забуду, как он бабахнул нам про Шопенгауэра. Все просто отключились. Кажется, недавно сделали ему книжку стихов, где вся идея и конструкция – мои... Что, кстати, не оправдалось общенчески, и он исчез, ходить на занятия перестал... Сложный человек. Стихи у него пронзительные есть – «я в сны уйду, из коих нет возврата...» Эссе писал про большого поэта, а на самом деле это вышло про себя. Говорят, литературная мистификация, жанр такой.

А это он стостраничную повесть сочинил. Нет сюжета, хотя это не главное. Но когда социальный гротеск затемняет и забивает живого человека? Когда главный герой, будучи выше и мудрее всех, вдруг начинает маршировать, как манекен? Жизнь-то с ее солеными волнами, радостью объятий и абрикосами все равно выдвигается из рукописи по обочине. Я читала целый месяц, злилась, теперь готова дать хоть какую-то рецензию. Вдруг сегодня прикатит на своей командирской машине, он же просит ему Кальвина найти... Надо рукопись взять с собой. Он такой пристальный, все поймет. Если не поругаемся. Мы все время ругаемся. Потому что даже великие люди у него потливы и похотливы, не говоря о простых... Потому что у него весь мир бардак, все люди б..., как дедушка говорил. А может, он не потому злой, что злой, а потому, что ухо сильно болит?

Вторая необъятная папка – учитель. Это только черновики, а чистовик макета я ему уже отдала, он с ним в типографию рванул, зачем же черновики носить? Это не надо, долой... Наверно, он обиделся за такую жестокую правку, но в конце концов, меня тоже правят, и его грамматика – его забота. А так идея книжки полностью моя, и обложку ему подобрала – ах! «Вторая молодость» – заголовок, а на фото два старых засохших дерева переплелись. Вообще слабая книжка, чего там. Один рассказ и есть, тот, что про стариков, восплавающих друг к другу. Все единодушно потряслись. Остальное так слабо, так спорно, что под ложечкой сосет. Представьте: работать и знать, что на выброс пойдет! Но он явно не увидел бы себя на расстоянии без этой книжки, вот эта степень отстраненности, откуда она еще возникает?.. Только когда увидишь страницу в стольких экземплярах, и закрутит тебя, задонимает: что ж я, что ж я... Нельзя его терять – других хорошо слышит, внимательный, чуткий к другим, резонатор лучше некуда, да и сам еще кое-что может.

Целый ворох неотвеченных писем... Так это старая подружка, художникова жена, еще времен колонии, это она оттуда стихи посылала. А теперь вот, говорят, вышла, да мне и не показала. Надо ей книжку, не надо?.. Никак руки не доходят.

А это милейшая внучкина бабушка: и черновая, и чистовая, и наброски ручкой, и распечатки разнокалиберные, батюшки, да тут и фотографии остались! Надо отдать скорее, придет на работу – все с собой... Я не жалею, что возилась с ней, по крайней мере, у нее праздник получился, она еще не знает, какой это все кошмар. Как и многие другие, нажимая на курок,

не хотят знать, что они надежду свою простреливают. Так бы еще тайна была, туманная мгла, а так – все ясно...

Ну вот! Очередные документы на вступление. Что это я их ношу две недели, давно надо отправить – в другую кучку их, на почту, на почту немедленно! Волнуется человек! Кстати, эту папку я тоже ему приготовила, тут мое первое действие, а второе еще в черновике. Пусть скажет мнение, а то сам небось уж две одноактные пьесы набарабанил... А вот это не просто документы. Тут уж, считай, высший суд над собой человек произвел. Одно заявление уже – крик души, исповедь... Все бы так подходили к себе, с высшей меркой. Скажем, я сама на подобное не способна.

Ежедневник так распух, что все выпадает. Азиатский мальчик, солдатик из района, вот те раз. Я же его потеряла и написала ему, так он и убивается, наверно. Как позорно вышло, боже мой. Немедленно ему написать сегодня, пока он еще не демобилизовался... Все-таки изумительны его строчки об измене милой, за которую он у нее же и прощения просит. Как это он, такой молодой и так уж постиг это мудрое, молитвенное – к женщине! Откуда это в нем, с его толстыми щеками и кирпичным румянцем? И деревенская поэтесса другого совсем уезда тут, уже начато письмо. Все с собой. Допишу сегодня... Письмо подруги из Челябинска, в котором впервые за два года радостная весть – она нашла свой очередной роман у шланга стиральной машины, на полу. Долой депрессию, дорогая. Пиши, начинай же скорее свой новый роман, а я уже про тебя статью написала довольно просторную, вроде обзора. В ней мало ума, много чувства. Это практически не статья, а величальная песнь... В твой «Урал» и отправлю. Не падай духом, видишь, я готова хранить все твои бесценные рукописи, если уж не могу все издать... Издавать-то надо бы там, где ты живешь, а не там, где я. Но, может быть, попробую хотя бы заложить в память... Текст сохранится. Твои пальцы, которые настукивают гениальные страницы романа, связали мне фантастический шарф, берет – сиреневый фиолет – тихой радугой светится теперь вокруг моего лица... Выше моего разума такие вещи.

Владимирская писательница, которая была на семинаре с дочкой, письмо прислала. Считаю, что я первая в стране ее напечатала, горжусь этим. Вязь стариннейших фраз, изящество, преклонение перед Набоковым. Когда-нибудь, верю, увижу ее в толстом журнале. А пока она просит изложить ей технологию выпуска моего альманаха, и я пытаюсь одновременно и одобрить и отговорить. Ее талант не в этом.

Наша молодая поэтесса, которая удачно снялась в телепрограмме, – фотография: она среди белого фарфора и новых книг, у ног солнечный ребенок и черная мудрая собачища... А фото на членский билет полгода сделать не может. Такова данность. Кстати, вот ее резонанс на Гальского: «вернуться в Россию дождем»! Вообще ее отзыв на кого бы то ни было – это редчайшее прикосновение, она понимает изнутри... Только как ее заставить – уму непостижимо. Взять презентацию финна – доклад написала, но забыла его дома. Пришлось на ходу вспоминать, и ей ее же тезисы строчить. Стихи-то на вторую ее книжку я коплю, но это процесс, кажется, долгий. С прозой этой поэтессы – вот сейчас тут в сумке ее рассказы – вообще разговор особый. Многое проступило из милицейской работы мужа, интересная фактология, да, но одухотворяющая аура самой поэтессы не согрела еще эти факты. Я говорила – женские образы удались, давай дальше... Она перестала даже черновики мне показывать. Неужели я так давя на людей? К другой поэтессе даже на километр не подходила, в статье посмела похвалить – и то целая трагедия: «Вы ходите по трупам». Эх, нежный народ поэты...

Это Шекспир, сонеты, которые перевел местный автор, доктор, кстати, а я его так и зову – «Шекспир». Тоже сто листов, ну размахнулся, доктор лор. Кое-что выше Маршака, в общем, я не специалист по переводам, а отзыв прекрасный... Ну что с ним делать, не знаю, хоть убейте. На люди выходить не может, заикается, голодает, с кровью, говорит, неладно, значит, надо торопиться при жизни издать, так? Доктор безработный, худой, «дай на сигареты», а я что, дочь миллионера? Сама без часов, без бутербродов, без тувель... Нет, это прессинг, невольный,

может быть. Возьму с собой, может, придет опять, вот тут надо бы поправить. Хотя он так плохо идет на поправки. «Шекспир» мне дан во испытание. Я ради него бросила на три месяца всех остальных. Хотя, может, и поняла что-нибудь именно через него – то, чего другие не хотели понимать. Поссорилась с ним. Зачем он всем диагнозы ставит?

Еще вот психиатр. Его романы про Савинкова, глава третья. Кстати, почему ко мне в последние годы пошли сплошь врачи? Может, я больная? Может, мы все больные и кто-то косвенно жалеет нас? Впрочем, мы никому зла не причиняем. А что приходится порой терпеть выкрутасы друг друга, так это даже хорошо, это нужно, это развивает терпение. Каков искус для психиатра разложить Савинкова как психбольного, поставить диагноз профессионала. Тем более – и архивы богатые, и савинковские тексты. Мы спорили не один день, и, кажется, теперь он стал даже любить своего героя. И говорит о нем не как врач. Как друг. Сила, сила понять и принять – невероятная, даже сам писатель преобразен ею и стал другой.

Молодые инакие стихи. Девочка золотая, сумасшедшая. «Не меряйте логикой речь пьяных влюбленных...» Значит, никаких рамок. Я сама ее нашла в редакции по адресу, философ гонял командирский газик с запиской. Я ее все ругала, а теперь не могу, очарована до комка в горле, если зайдет – схвачу за руку мертвой хваткой, не выпущу. Сколько можно ругать? Иногда ругать нет сил, но ей будет хуже, как захвалят. Может, попытаться спросить о ней московскую знаменитость? Отнимется язык, как в случае с Петрушевской... Когда я спросила ее мнение обо мне, она меня отхлестала. Так что неизвестно, чем это может кончиться.

«Боже мой, ну где вы были, где вы прятали галчонка?..» – читаю, шевеля губами. А знаете, вот так в себе и прятала. И лишь теперь вижу – незачем. И лишь теперь понимаю – я редкое существо, только боялась так думать. Она натолкнула меня на это. Она дебютировала в престижной газете, о ней заговорили, гори-гори ясно, чтобы не погасла. Хотела я ее учить, но чему? Читать вслух – побелела, сорвалась вон. Только не она у меня, это я у нее учиться должна. Новой системе мышления, существования, новой, прерывистой от любви речи... «Зацелованный и заласканный / куролся, смеша играя / этот рот не хотел быть сказкою / он себе позволял быть явью...» Она себе позволяет быть явью!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.